ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Отрывки из поэмы Георгия Иванова «Распад атома» (1938)

Я дышу. Может быть, этот воздух отравлен? Но это единственный воздух, которым мне дано дышать. Я ощущаю то смутно, то с мучительной остротой различные вещи. Может быть, напрасно о них говорить? Но нужна или не нужна жизнь, умно или глупо шумят деревья, наступает вечер, льет дождь? Я испытываю по отношению к окружающему смешанное чувство превосходства и слабости: в моем сознании законы жизни тесно переплетены с законами сна. Должно быть, благодаря этому перспектива мира сильно искажена в моих глазах. Но это как раз единственное, чем я еще дорожу, единственное, что еще отделяет меня от всепоглощающего мирового уродства. (…)

(…) В сущности, я счастливый человек. То есть человек, расположенный быть счастливым. Это встречается не так часто. Я хочу самых простых, самых обыкновенных вещей. Я хочу порядка. Не моя вина, что порядок разрушен. Я хочу душевного покоя. Но душа, как взбаламученное помойное ведро — хвост селедки, дохлая крыса, обгрызки, окурки, то ныряя в мутную глубину, то показываясь на поверхность, несутся вперегонки. Я хочу чистого воздуха. Сладковатый тлен — дыхание мирового уродства — преследует меня, как страх.(…)

(…) Я думаю о различных вещах и, сквозь них, непрерывно думаю о Боге. Иногда мне кажется, что Бог так же непрерывно, сквозь тысячу посторонних вещей, думает обо мне. Световые волны, орбиты, колебания, притяжения и сквозь них, как луч, непрерывная мысль обо мне. Иногда мне чудится даже, что моя боль частица Божьего существа. Значит, чем сильнее моя боль... Минута слабости, когда хочется произнести вслух — "Верю, Господи..." Отрезвление, мгновенно вступающее в права после минуты слабости.

Я думаю о нательном кресте, который я носил с детства, как носят револьвер в кармане — в случае опасности он должен защитить, спасти. О фатальной неизбежной осечке. О сиянии ложных чудес, поочередно очаровывавших и разочаровывавших мир. И о единственном достоверном чуде — том неистребимом желании чуда, которое живет в людях, несмотря ни на что. Огромном значении этого. Отблеске в каждое, особенно русское сознание.(…)

(…) Я думаю о Франции вообще. О девятнадцатом веке, который задержался здесь. О фиалочках на Мадлен, булках, мокнущих в писсуарах, подростках, идущих на первое причастие, каштанах, распространении триппера, серебряном холодке аве Мария. О дне перемирия в 1918 году. Париж бесился. Женщины спали с кем попало. Солдаты влезали на фонари, крича петухом. Все танцевали, все были пьяны. Никто не слышал, как голос нового века сказал: "Горе победителям".

Я думаю о войне. О том, что она — ускоренная, как в кинематографе, сгущенная в экстракт жизнь. Что в несчастьях, постигших мир, война, сама по себе, была ни при чем. Толчок, ускоривший неизбежное, больше ничего. Как больному все опасно, так старый порядок пополз от первого толчка. Больной съел огурец и помер. Мировая война была этим огурцом. Я думаю о банальности таких размышлений и одновременно чувствую, как тепло или свет, умиротворяющую ласку банальности. Я думаю о эпохе, разлагающейся у меня на глазах. О двух основных разновидностях женщин: либо проститутки, либо гордые тем, что удержались от проституции. О бесчеловечной мировой прелести и одушевленном мировом уродстве. О природе, о том, как глупо описывают ее литературные классики. О всевозможных гадостях, которые люди делают друг другу. О жалости. О ребенке, просившем у рождественского деда новые глаза для слепой сестры.(…) Я опять возвращаюсь к мысли, что я человек, расположенный быть счастливым. Я хотел самой обыкновенной вещи — любви.(…)

(…) Сердце перестает биться. Легкие отказываются дышать. Мука, похожая на восхищение. Все нереально, кроме нереального, все бессмысленно, кроме бессмыслицы. Человек одновременно слепнет и прозревает. Такая стройность и такая путаница. Часть, ставшая больше целого,– часть все, целое ничто. Догадка, что ясность и законченность мира — только отражение хаоса в мозгу тихого сумасшедшего. Догадка, что книги, искусство — все равно что описания подвигов и путешествий, предназначенные для тех, кто никогда никуда не поедет и никаких подвигов не совершит. Догадка, что огромная духовная жизнь разрастается и перегорает в атоме, человеке, внешне ничем не замечательном, но избранном, единственном, неповторимом. Догадка, что первый встречный на улице и есть этот единственный, избранный, неповторимый. Множество противоречивых догадок, как будто подтверждающих, на новый лад, вечную

неосязаемую правду. Тайные мечты. — Скажи, о чем ты мечтаешь тайком, и я тебе скажу, кто ты. — Хорошо, я попытаюсь сказать, но расслышишь ли ты меня? Все гладко замуровано, на поверхности жизни не пробьется ни одного пузырька. Атом, точка, глухонемой гений и под его ногами глубокий подпочвенный слой, суть жизни, каменный уголь перегнивших эпох. Мировой рекорд одиночества. — Так ответь, скажи, о чем ты мечтаешь тайком там, на самом дне твоего одиночества?

Вечер. Июль. Люди идут по улице. Люди тридцатых годов двадцатого века. Небо начинает темнеть, скоро проступят звезды. Можно описать сегодняшний вечер, Париж, улицу, игру теней и света в перистом небе, игру страха и надежды в одинокой человеческой душе. Можно сделать это умно, талантливо, образно, правдоподобно. Но чуда уже сотворить нельзя — ложь искусства нельзя выдать за правду. Недавно это еще удавалось. И вот...

То, что удавалось вчера, стало невозможным сегодня. Нельзя поверить в появление нового Вертера, от которого вдруг по всей Европе начнут щелкать восторженные выстрелы очарованных, упоенных самоубийц. Нельзя представить тетрадку стихов, перелистав которую современный человек смахнет проступившие сами собой слезы и посмотрит на небо, вот на такое же вечернее небо, с щемящей надеждой. Невозможно. Так невозможно, что не верится, что когда-то было возможным. Новые железные законы, перетягивающие мир, как сырую кожу, не знают утешения искусством. Более того, эти — еще неясные, уже неотвратимые — бездушно справедливые законы, рождающиеся в новом мире или рождающие его, имеют обратную силу: не только нельзя создать нового гениального утешения, уже почти нельзя утешиться прежним. Есть люди, способные до сих пор плакать над судьбой Анны Карениной. Они еще стоят на исчезающей вместе с ними почве, в которую был вкопан фундамент театра, где Анна, облокотясь на бархат ложи, сияя мукой и красотой, переживала свой позор. Это сиянье почти не достигает до нас. Так, чуть-чуть потускневшими косыми лучами — не то последний отблеск утраченного, не то подтверждение, что утрата непоправима. Скоро все навсегда поблекнет. Останется игра ума и таланта, занятное чтение, не обязывающее себе верить и не внушающее больше веры. (…) неизбежная черта, граница, за которой — никакого утешения вымышленной красотой, ни одной слезы над вымышленной судьбой.

Я хочу самых простых, самых обыкновенных вещей. Я хочу заплакать, я хочу утешиться. Я хочу со щемящей надеждой посмотреть на небо. Я хочу написать тебе длинное прощальное письмо, оскорбительное, небесное, грязное, самое нежное в мире. Я хочу назвать тебя ангелом, тварью, пожелать тебе счастья и благословить, и еще сказать, что где бы ты ни была, куда бы ни укрылась — моя кровь мириадом непрощающих, никогда не простящих частиц будет виться вокруг тебя. Я хочу забыть, отдохнуть, сесть в поезд, уехать в Россию, пить пиво и есть раков теплым вечером на качающемся поплавке над Невой. Я хочу преодолеть отвратительное чувство оцепенения: у людей нет лиц, у слов нет звука, ни в чем нет смысла. Я хочу разбить его, все равно как. Я хочу просто перевести дыхание, глотнуть воздуху. Но никакого воздуха нет.

История моей души. Я хочу ее воплотить, но умею только развоплощать. Я завидую отделывающему свой слог писателю, смешивающему краски художнику, погруженному в звуки музыканту, всем этим, еще не переведшимся на земле людям чувствительно –бессердечной, дальнозорко — близорукой, общеизвестной, ни на что уже не нужной породы, которые верят, что пластическое отражение жизни есть победа над ней. Был бы только талант, особый творческий живчик в уме, в пальцах, в ухе, стоит только взять кое-что от выдумки, кое-что от действительности, кое-что от грусти, кое-что от грязи, сровнять все это, как дети лопаткой выравнивают песок, украсить стилистикой и воображением, как глазурью кондитерский торт, и дело сделано, все спасено, бессмыслица жизни, тщета страданья, одиночество, мука, липкий тошнотворный страх—преображены гармонией искусства.

Я знаю этому цену и все-таки завидую им: они блаженны. Блаженны спящие, блаженны мертвые. Блажен знаток перед картиной Рембрандта, свято убежденный, что игра теней и света на лице старухи — мировое торжество, перед которым сама старуха ничтожество, пылинка, ноль. Блаженны эстеты. Блаженны балетоманы. Блаженны слушатели Стравинского и сам Стравинский. Блаженны тени уходящего мира, досыпающие его последние, сладкие, лживые, так долго баюкавшие человечество сны. Уходя, уже уйдя из жизни, они уносят с собой огромное воображаемое богатство. С чем останемся мы?

С уверенностью, что старуха бесконечно важней Рембрандта. С недоумением, что нам с этой старухой делать. С мучительным желанием ее спасти и утешить. С ясным сознанием, что никого спасти и ничем утешить нельзя. С чувством, что только сквозь хаос противоречий можно пробиться к правде. Что на саму реальность нельзя опереться: фотография лжет и всяческий документ заведомо подложен. Что все среднее, классическое, умиротворенное немыслимо, невозможно. Что чувство меры, как угорь, ускользает из рук того, кто силится его поймать, и что эта неуловимость — последнее из его сохранившихся творческих свойств. Что когда, наконец, оно поймано — поймавший держит в руках пошлость.

Я хотел бы выйти на берег моря, лечь на песок, закрыть глаза, ощутить дыханье Бога на своем лице. Я хотел бы начать издалека — с синего платья, с размолвки, с зимнего туманного дня. "На холмы Грузии легла ночная мгла" — такими приблизительно словами я хотел бы говорить с жизнью.

Жизнь больше не понимает этого языка. Душа еще не научилась другому. Так болезненно отмирает в душе гармония. Может быть, когда она совсем отомрет, отвалится, как присохшая болячка, душе станет снова первобытно–легко. Но переход медлен и мучителен. Душе страшно. Ей кажется, что одно за другим отсыхает все, что ее животворило. Ей кажется, что отсыхает она сама. Она не может молчать и разучилась говорить. И она судорожно мычит, как глухонемая делает безобразные гримасы. "На холмы Грузии легла ночная мгла" — хочет она звонко, торжественно произнести, славя Творца и себя. И, с отвращением, похожим на наслаждение, бормочет матерную брань с метафизического забора, какое–то "дыр бул щил убещур".

(…) Синее платье, размолвка, зимний туманный день. Тысяча других платьев, размолвок, дней. Тысяча ощущений, безотчетно пробегающих в душе каждого человека. Немногие, получившие права гражданства, вошедшие в литературу, в обиход, в разговор. И остальные, бесчисленные, еще не нашедшие литературного выражения, не отделившиеся еще от утробного заумного ядра. Но от этого ничуть не менее плоские: тысячи невоплощенных банальностей, терпеливо ждущих своего Толстого. Догадка, что искусство, творчество в общепринятом смысле, не что иное, как охота за все новыми и новыми банальностями. Догадка, что гармония, к которой стремится оно, не что иное, как некая верховная банальность. Догадка, что истинная дорога души вьется где–то в стороне — штопором, штопором — сквозь мировое уродство. В кафе сидит человек. Обыкновенный человечек, ноль. Один из тех, о которых пишут после катастрофы: убито десять, ранено двадцать шесть. Не директор треста, не изобретатель, не Линдберг, не Чаплин, не Монтерлан. Он прочел газету и знает теперь, как настроено общественное мнение Англии. Он допил кофе и зовет гарсона, чтобы расплатиться. Он рассеянно думает, что ему дальше делать — пойти в кинематограф или отложить деньги на лотерейный билет. Он спокоен, он мирно настроен, он спит, ему снится чепуха. И вдруг, внезапно он видит перед собой черную дыру своего одиночества. Сердце перестает биться, легкие отказываются дышать. Мука, похожая на восхищение.

(…) Атом неподвижен. Он спит. Все гладко замуровано, на поверхность жизни не пробьется ни одного пузырька. Но если его ковырнуть. Пошевелить его спящую суть. Зацепить, поколебать, расщепить. Пропустить сквозь душу миллион вольт, а потом погрузить в лед. Полюбить кого-нибудь больше себя, а потом увидеть дыру одиночества, черную ледяную дыру.

Человек, человечек, ноль растерянно смотрит перед собой. Он видит черную пустоту, и в ней, как беглую молнию, непостижимую суть жизни. Тысяча безымянных, безответных вопросов, на мгновение освещаемых беглым огнем и сейчас же поглощаемых тьмой.

Сознание, трепеща, изнемогая, ищет ответа. Ответа нет ни на что. Жизнь ставит вопросы и не отвечает на них. Любовь ставит... Бог поставил человеку — человеком — вопрос, но ответа не дал. И человек, обреченный только спрашивать, не умеющий ответить ни на что. Вечный синоним неудачи — ответ. Сколько прекрасных вопросов было поставлено за историю мира, и что за ответы были на них даны...

(…) Два миллиарда обитателей земного шара. Каждый сложен своей мучительной, неповторимой, одинаковой, ни на что не нужной, постылой сложностью. Каждый, как атом в ядро, заключен в непроницаемую броню одиночества. Два миллиарда обитателей земного шара — два миллиарда исключений из правила. Но в то же время и правило. Все отвратительны. Все несчастны. Никто не может ничего изменить и ничего понять. Брат мой Гёте, брат мой консьерж, оба вы не знаете, что творите и что творит с вами жизнь.

Точка, атом, сквозь душу которого пролетают миллионы вольт. Сейчас они ее расщепят. Сейчас неподвижное бессилие разрешится страшной взрывчатой силой. Сейчас, сейчас. Уже заколебалась земля. Уже что-то скрипнуло в сваях Эйфелевой башни. Самум мутными струйками закрутился в пустыне. Океан топит корабли. Поезда летят под откос. Все рвется, ползет, плавится, рассыпается в прах — Париж, улица, время, твой образ, моя любовь. Тишина и ночь. Полная тишина, абсолютная ночь. Мысль, что все навсегда кончается, переполняет человека тихим торжеством. Он предчувствует, он наверняка знает, что это не так. Но пока длится эта секунда, он не хочет противиться ей. Уже не принадлежа жизни, еще не подхваченный пустотой — он позволяет себя баюкать, как музыке или морскому прибою, смутной певучей лжи.

Уже не принадлежа жизни, еще не подхваченный пустотой... На самой грани. Он раскачивается на паутинке. Вся тяжесть мира висит на нем, но он знает — пока длится эта секунда, паутинка не оборвется, выдержит все. Он смотрит в одну точку, бесконечно малую точку, но пока эта секунда длится, вся суть жизни сосредоточена там. Точка, атом, миллионы вольт, пролетающие сквозь него и вдребезги, вдребезги плавящие ядро одиночества.

(...) Спираль была закинута глубоко в вечность. По ней пролетало все: окурки, закаты, бессмертные стихи, обстриженные ногти, грязь из-под этих ногтей. Мировые идеи, кровь, пролитая за них, кровь убийства н совокупления, геморроидальная кровь, кровь из гнойных язв. Черемуха, звезды, невинность, фановые трубы, раковые опухоли, заповеди блаженства, ирония, альпийский снег. Министр, подписавший версальский договор, пролетел, напевая "Германия должна платить", — на его острых зубах застыла сукровица, в желудке просвечивал крысиный яд. Догоняя шинель, промчался Акакий Акакиевич, с птичьим профилем, в холщовых подштанниках… Все надежды, все судороги, вся жалость, вся безжалостность, вся телесная влага, вся пахучая мякоть, все глухонемое торжество... И тысячи других вещей. Теннис в белой рубашке и купанье в Крыму, снящиеся человеку, которого в Соловках заедают вши. Разновидности вшей: платяные, головные и особенные, подкожные, выводимые одной политанью. Политань, пилюли от ожиренья, шарики против беременности, ледоход на Неве, закат на Лидо и все описания закатов и ледоходов — в бесполезных книгах литературных классиков. В непрерывном пестром потоке промелькнули синее платье, размолвка, зимний туманный день.

Спираль была закинута глубоко в вечность. Разбитое вдребезги, расплавленное мировое уродство, сокращаясь, вибрируя, мчалось по ней. Там, на самой грани, у цели, все опять сливалось в одно. Сквозь вращенье трепет и блеск, понемногу проясняясь, проступали черты. Смысл жизни? Бог? Нет, все то же: дорогое, бессердечное, навсегда потерянное твое лицо.